



Викентий Викентьевич Вересаев

"Человек проклят" (О Достоевском)

В. Вересаев считал «Живую жизнь» одним из самых дорогих произведений в своем творчестве. Первая часть — «О Достоевском и Льве Толстом» — вышла в 1910 году, вторая — «Аполлон и Дионис» — в 1914 году. В то время они вызвали большую полемику.

В чужду реакции, охватившей русское общество, Вересаев решительно выступал против пессимизма, нищестанства и декадентства, против культа звериного инстинкта в человеке, воспевая светлые начала жизни.

В. Вересаев. «Живая жизнь». Издательство политической литературы. Москва. 1991.

Содержание

I «Одни только люди, а кругом них молчание» . . .	0005
II «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto»	0016
III Не забывающие про смерть	0026
IV «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?»	0032
V «Смелей, человек, и будь горд!»	0036
VI Извлечение квадратного корня	0048
VII Бифштекс на жестяном блюде	0056
VIII «Вот какие мы богачи»	0067
IX Любовь — страдание	0075
X Недостойные жизни	0091
XI «Жить, чтоб только проходить мимо» . . .	0105
XII Вечная гармония	0113
XIII Тарантул	0119
XIV Аркан	0129
XV В страдании есть идея	0140
XVI Живая жизнь	0147

В. Вересаев



**«ЧЕЛОВЕК ПРОКЛЯТ»
(О Достоевском)**

*Тут ирония, тут вышла злая ирония
судьбы и природы! Мы прокляты,
жизнь
людей проклята вообще!.. Смелей,
человек, и будь горд! Не ты виноват!
«Кроткая»*

«Одни только люди, а кругом них молчание»

Туман, слякоть. Из угрюмого, враждебного неба льет дождь, или мокрый снег падает. Ветер воет в темноте. Летом, бывает, светит и солнце, — тогда жаркая духота стоит над землей, пахнет извешкою, пылью, особенно летнею вонью города... Вот мир, в котором живут герои Достоевского. Описывает он этот мир удивительно.

«— Любите вы уличное пение? — спрашивает Раскольников. — Я люблю, как поют под шарманку, в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? А сквозь него фонари с газом блистают...»

И так везде у Достоевского. Живою тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и морозящие дожди. Мрачная, отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоев-

ским начинаешь любить эту тоску какою-то особенною, болезненною любовью.

В душе художника вечная, беспросветная осень. Он как будто с большим только напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадежно далеко. Воспоминания тусклы и безжизненны, как будто он смотрит на них сквозь запотелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа, — какой-нибудь «лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит», — и сердце сожмется в тоске по далекому и недостижимому.

Прямо удивительно, как неизнаваемо тускнеет волшебник Достоевский, когда ему приходится описывать природу радостную и прекрасную.

Свидригайлов последнюю ночь перед самоубийством проводит в дрянненьком номере на Петербургской стороне. Холодно, сыро, ветер бьет в окно брызгами. Навсегда врезывается в память картина холодного отчаяния одинокой человеческой души среди холодно-

го равнодушия бушующей осенней ночи. И вот Свидригайлову снится сон:

«Ему вообразился прелестный цветущий пейзаж: светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставлено грядами роз; светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках» и т. д.

Что это? Да Достоевский ли написал это? Ведь перед нами начало банальнейшего английского романа, сочиненного какою-нибудь мисс или миссис. Вот сейчас по лестнице поднимется благородный Артур и изящно поклонится прелестной Мэри.

Сон Версилова:

«Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, — словами не передашь... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи на-

полнялись их песнями и веселыми криками. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей».

Со стеклянными этими описаниями неловко даже ставить рядом описания природы, например, у Толстого или Тургенева. Вот пара строк из небрежного частного письма Толстого: «Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. Пошлой, но невольное сравнение: дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее». Ведь вся душа вздрагивает от этой «пошлой» пары строк. А что могут шевельнуть в душе те «прелестные пейзажи», «волшебные панорамы» и «ласковые голубые волны»?

Лексикон Достоевского поразительно богат. Но при описании радующейся природы он как будто теряет собственные слова. Либо «волшебные панорамы» и «ласковые волны», либо еще... цитаты!

Легенда о Великом Инквизиторе: «Настает темная, горячая и „бездыханная севильская ночь“». Воздух «лавром и лимоном пахнет»...

Юноша Ипполит в «Идиоте» говорит: «Как только солнце покажется и „зазвучит“ на небе (кто это сказал в стихах: „на небе солнце зазвучало“? Бессмысленно, но хорошо!), так мы и спать». И несколько раз он повторяет этот образ: «когда солнце взойдет и „зазвучит“ на небе».

Но только вступит Достоевский в область мрака, туманов и дождей, — и чуждый пришелец мгновенно превращается в державного владыку. Каждое слово его звучит здесь властно и самостоятельно; здесь ему не нужны ни «пейзажи» и «панорамы», ни цитаты.

Глядя на радость и ликование природы, самые разнообразные герои Достоевского испытывают странное, самым им непонятное чувство какой-то отъединенности.

Раскольников стоит на Николаевском мосту. «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Одна беспокойная и неясная мысль занимала теперь Раскольникова исключительно. Ему случалось, может быть, раз сто останавливаться именно на этом самом месте, пристально вглядываться в эту действительно ве-

ликолепную панораму, и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. *Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...* Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению».

Юноша-нигилист Ипполит («Идиот») пишет в своей исповеди:

«Для чего мне ваша природа, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!»

Князь Мышкин ходит ранним утром по парку, вспоминает чтение Ипполита. «Одно

давно забытое воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его лечения. Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслью. Пред ним было блестящее небо, внизу — озеро, кругом — горизонт, светлый и бесконечный. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце, каждое утро на водопаде радуга; каждая „маленькая мушка во всем этом хоре участница: место знает свое, любит его и счастлива“; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конеч-

но, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он всё это говорил и тогда».

Далека от человека жизнь природы; «духом немым и глухим» полна для него эта таинственная жизнь. Далеки и животные. Их нет вокруг человека, он не соприкасается душою с их могучею и загадочною, не умом постигаемую силою жизни. Лишь редко, до странности редко является близ героев Достоевского то или другое животное, — и, боже мой, в каком виде! Искалеченное, униженное и забитое, полное того же мрака, которым полна природа.

Дрянной трактирчик на Петербургской стороне. «Пахло пригорелым маслом. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый» («Подросток»).

Собака Азорка в «Униженных и оскорбленных»: «Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Казалось, она

целый день лежит где-нибудь мертвая, и, как зайдет солнце, вдруг оживает».

Перезвон в «Братьях Карамазовых» — «мохнатая, довольно большая и паршивая собака... Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая... Коля, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг».

Мельком является еще в «Бесах» «скверная, старая маленькая собачонка Земирка», в «Двойнике» — паршивая уличная собачонка. Вот чуть ли и не все животные, которых мы встречаем в чисто художественных произведениях Достоевского.

Правда, есть еще в «Неточке Незвановой» невероятно свирепый и невероятно умный бульдог Фальстаф, есть в «Маленьком герое» столь же свирепый и дикий конь Танкред (который, однако, ухитряется не сбросить с себя взбравшегося на него одиннадцатилетнего

мальчика). Но оба животные в этих ранних произведениях Достоевского слишком явно сочинены, слишком художественно мертвы, чтобы брать их в счет. Таких псов и коней можно рисовать, ни разу в жизни не выдавши собаки и лошади, — достаточно только прочесть несколько французских романов тридцатых годов.

Высших животных почти нет вокруг героев Достоевского. Зато в невероятном количестве встают перед ними всякого рода низшие животные, гады и пресмыкающиеся, наиболее дисгармоничные, наибольший ужас и отвращение вселяющие человеку. Тарантулы, скорпионы, фаланги и пауки, пауки без числа. Они непрерывно сняты и представляются чуть ли не всем героям Достоевского без исключения. Как холод, мрак и туманы неодушевленной природы, так эти уроды животной жизни ползут в душу человеческую, чтоб оттолкнуть и отъединить ее от мира, в котором свет и жизнь.

И мир мертвеет для души. Вокруг человека — не горячий трепет жизни, а холодная пустота, «безгласие косности».

«Косность! О, природа! Люди на земле одни, — вот беда! „Есть ли в поле жив человек?“ — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? *Всё мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание, — вот земля!*» («Кроткая»).

«Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto»

И одиноко, — сами, как пауки, — сидят люди в глухих углах и смотрят на мир.

Мелкие рассказы Достоевского. Основа всех их одна: в мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-скорлупе ютится бесконечно одинокий человек и в одиночку живет напряженно-фантастической, сосредоточенною в себе жизнью.

«Смеркалось, накрапывал дождь. Ордынцов сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно» («Хозяйка»).

«Жизнь моя была угрюмая и до одичалости одинокая. Моя квартира была моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества» («Записки из подполья»).

И так почти в каждом рассказе... Большие романы, с героями, наиболее близкими душе

Достоевского. «Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись... Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу». «Я — человек мрачный, скучный, — говорит Свидригайлов. — Сижу в углу. Иной раз три дня не разговоят».

Подросток пишет: «Нет, мне нельзя жить с людьми! На сорок лет вперед говорю. Моя идея — угол... Вся цель моей „идеи“ — уединение...» Версиков говорит ему: «Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей».

Кириллов в «Бесах» «не склонен встречаться с людьми и мало с людьми говорит». В убогом своем флигельке все ночи до рассвета он ходит, пьет чай и думает. Одинок и загадочно проходит сквозь жизнь никому не понятный Николай Ставрогин. Одинок сидит и думает в отцовском доме Иван Карамазов.

Связи с широкою и таинственною жизнью мира в душе человека нет. Нет также в его душе и естественной связи с другими людьми, с человечеством. Труднее всего для этого чело-

века-одиночки вообразить, как можно *из себя* любить людей или даже просто «быть *благо-родным*».

«Да что мне до будущего, — восклицает Подросток, — когда я один только раз на свете живу! Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, *если мне за это — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига?*»

Человек органически не способен любить людей — это на все лады повторяют разнообразнейшие герои Достоевского.

«По-моему, — говорит Версиков, — человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего. „Любовь к человечеству“ надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей».

Так же высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству — даже совсем *немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*» (курсив До-

стоевского).

Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя, — то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.

Иван Карамазов утверждает, что «для каждого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному; эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства — боязнь, например, общественного мнения и т. п. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос:

«Положим, вы жили на луне, вы там, положим, сделали злодейство, или, главное, стыд, т. е. позор, только очень подлый и... смешной.

Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?»

Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой «Сна смешного человека». В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, сбросить покровы и раскрыться вовсю.

Кладбище. В могилах зеленая вода. Доносятся из-под земли глухие разговоры, «как будто рты закрыты подушками». Это под землею беседуют мертвецы.

«— Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!

— Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! — слышались многие голоса. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— На земле жить и не лгать невозможно.

но, — сказал барон. — Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса» («Бобок»).

Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением поблагороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маскою смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо.

Князь-отец в «Униженных и оскорбленных» рассказывает про одну красавицу графиню. Она была примерно добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. «И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить ее доверенность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но

самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попираание всего, чего нельзя попираТЬ, — вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо-очарователен».

Когда с ближним случается несчастье, то в душе человека закипает хищная радость, — это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе.

«Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним; несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» («Преступление и наказание»). «Вообще в каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз, и даже кто бы вы ни были» («Бесы»). «Я был потрясен даже до того, что обык-

новенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастье, т. е. когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и пр. — даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю» («Подросток»).

Поистине, человек — это прирожденный дьявол. «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto», — заявляет черт Ивану Карамазову. Я — сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму, — в человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу. «Я думаю, — говорит Иван, — что, если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».

В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии, его тянет к разрушению, к хаосу.

«Как я донес букет, не понимаю, — сказал Версиков. — Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой... Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слыш-

ком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош».

В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название — бог.

Федор Павлович Карамазов либеральничает:

«Взять бы всю эту мистику (монастыри), да разом по всей русской земле и упразднить... Чтоб истина скорее воссияла».

Иван возражает:

«Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом... упразднят».

Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге:

«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга

целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Спаслись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса».

III

Не забывающие про смерть

В «Дневнике писателя» Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы, — «разумеется, материалиста» («Приговор»).

«Я не могу быть счастлив, — пишет самоубийца, — даже и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и всё человечество — обратится в ничто, в прежний хаос. *А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья* просто потому, что не буду и не могу быть счастлив *под условием грозящего завтра нуля*. Это чувство, это *непосредственное* чувство, и я не могу побороть его».

Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет, — не завтра, так через

сорок лет. Что же это за странная душевная тупость — думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать. Для чего?.. Два только есть логически разумных выхода — либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы: отдать-ся мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться

*ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем доме встречаю,
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши.*

Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, все делающая ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни.

Прометей у Эсхила говорит:

Я смертным дал забвенье смерти.

И хор бессмертных Океанид в изумлении спрашивает:

Но как могли про смерть они забыть?

Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо неспособным внутренне чують смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же ее душою разве только в редкие отдельные мгновения. «Никто, — говорит Шопенгауэр, — не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы, насколько не воспринимая их в свое живое сознание».

Бессмертным этого не понять. Не понять этого и *слишком* смертным, — тем, кто носит

в духе своем смерть и разложение. Не понимают и герои Достоевского.

Все они полны смутного, мятущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться.

«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически-ужасное с самого детства». «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней», — сознается Свидригайлов. «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» (Лиза, сестра Подростка). «Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна!» (Катерина Николаевна в «Подростке»). «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» (Лиза в «Бесах»).

Страх смерти — это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против бога, «хочет лишить себя жизни, потому что *не хочет страха смерти*». «Вся свобода, — учит он, — будет тогда, когда будет всё равно, жить или не жить... Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам ста-

нет бог».

Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает: невозможна. Как нет *внутри* человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, — так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни, это — полное уничтожение смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его», — пишет самоубийца в «Приговоре».

«Я представляю себе, мой милый, — начал Версиров с задумчивою улыбкою, — что бой уже кончился и борьба улеглась. Настало затишье, — и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их, люди разом почувствовали великое сиротство... Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходи-

лось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенно, уже не прежнюю любовью. „Пусть завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, — но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их“... О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

IV

«Если бога нет, то какой же я после этого капитан?»

«**А** что, когда бога нет? — говорит Дмитрий Карамазов. — Тогда, если его нет, то человек — шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это... Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».

Мы видели: без бога не только невозможно любить человечество, — без бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского, среди материалов к роману «Бесы», есть рассуждение, которое Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину:

«Прежде всего нужно предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том: возможно ли серьезно и вправду веровать? Если же невозможно, то вовсе не так неизвинительно, если

кто потребует, что лучше всего всех сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы (Медленное страдание и смерть и скорое страдание и смерть)».

Человек беден безмерно. Это одинокий беспомощный калека с перебитыми ногами, и бог ему необходим, как костыль. Иначе он сейчас же свалится. Человек лишен всякого живого чувства, свободно идущего изнутри. И не только лишен, — он даже не в состоянии представить себе возможности такого чувства. Ну, а мать, например, — способна ли хоть она-то любить своего ребенка «без санкций»? Право, кажется не удивишься, если где-нибудь найдешь у Достоевского недоумение: «как это мать может любить ребенка своего без бога? Это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу».

Се — человеки могучие, слава сынов земнородных.

Были могучи они, с могучими в битвы вступали.

Эти Гекторы, Диомеды и Ахиллесы боролись и умирали за то, что считали благом целого, при идее такого убогого бессмертия, ко-

торое было хуже всякой смерти. И позднейшие греки, создавшие величайшую в мире культуру, были не то чтобы «добродетельны без бога», а гораздо больше: они были *добродетельнее* своих богов, — это отмечают все исследователи греческой культуры. Еще в большей мере приложимо это к древним римлянам. Юпитер ли вдохновлял Гракхов в их борьбе за народ? Что уж говорить о подвигах и жертвах, которыми полна жизнь за последние века! Без санкции люди боролись и гибли, борются и гибнут.

Все это как будто творится в каком-то совсем другом мире — не в том, в котором Достоевский. В его же мире, если нет человеку бессмертия, то есть только взаимная ненависть, злоба, одиночество и мрак. «Самоубийство, говорит Достоевский, — при потере идеи о бессмертии становится совершенно и неизбежно даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами» (так и сказано!).

Эта слепота Достоевского на все живое слишком ужасна и трагична, чтобы можно было смеяться. И, однако, комично последова-

тельной иллюстрацией к его мысли о невозможности для человека жить без санкции является событие, о котором рассказывает Петр Верховенский в «Бесах».

«— В пятницу вечером я с офицерами пил. Об атеизме говорили и уж, разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. Один седой бурбон-капитан сидел-сидел, всё молчал, вдруг становится среди комнаты, и, знаете, громко так, как бы сам с собой: „Если бога нет, то какой же я после этого капитан?“ Взял фужер, развел руками и вышел.

— Довольно цельную мысль выразил, — зевнул Ставрогин.

— Да? Я не понял; вас хотел спросить».

Мы, может, тоже бы не поняли. Но, подготовленные Достоевским, мы понимаем, — и понимаем, что это действительно весьма даже цельная мысль.

V

«Смелей, человек, и будь горд!»

В сумеречной глубине души человеческой лежит дьявол. Ему нет воли. Его держит заключенным в низах души тяжелая крышка — бог. Дьявол задыхается в глубине, рвется на волю, просит жизни. И все очевиднее становится для человека, что это душа его просит воли, что рвущийся из-под крышки дьявол это и есть он сам.

Что же делать? «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!» Нужно только дерзнуть, нужно только сбросить крышку — и будет свобода. Встанет придавленный дьявол, разомнется и поведет человека. Наступит цельная жизнь и яркое счастье, — пускай страшная жизнь, дьявольское счастье, но жизнь и счастье.

Человек из подполья пишет: «С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообра-

зили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила, к чему бы ни привела».

«Если нет бога, — говорит Кириллов, — то вся воля — моя. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что своевольничал с краю, как школьник. Неужели никто, кончив бога, не осмелился заявить своеволие в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть».

И вот люди начинают заявлять своеволие, начинают проявлять свое самостоятельное хотение.

Самостоятельное хотение, раз сброшена с души упомянутая крышка, — это, конечно, что-то глубоко отъединенное от всего в мире, идущее исключительно в собственное я человека. Раскольников говорит: «Трудолюбивый народ социалисты и торговый; „общим счастьем“ занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет; я не хо-

чу дожидаться „всеобщего счастья“. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить». В чем же жизнь? «Свобода и власть, главное — власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!.. Кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и властелин. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!»

Чтобы доказать себе, что он «смеет», Раскольников убивает старуху процентщицу. «Я не человека убил, я принцип убил... Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; *для себя убил, для себя одного...* Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмеюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Оказалось — тварь дрожащая. Проявить «самостоятельное хотение» до конца Раскольников не посмел. Сам идет на раскрытие своего преступления, по-ребячески задирает Заметова и Порфирия, раскидывает на себя сети и

беспомощно запутывается в них. С презрением, с отвращением к себе за свою слабость он идет каяться, доносит на себя, отправляется на каторгу.

Раскаяния никакого Раскольников не испытывает, и вовсе не мучения совести заставляют его сознаться в преступлении, — это великолепно показал Мережковский. Перечитываешь «Преступление и наказание» — и недоумеваешь: как могли раньше, читая одно, понимать совсем другое, как могли видеть в романе истасканную «идею», что преступление будит в человеке совесть и в муках совести несет преступнику высшее наказание.

«Я сейчас иду предавать себя. *Но я не знаю, для чего я иду предавать себя,* — говорит Раскольников. — Преступление? Какое преступление? — вскричал он в каком-то внезапном бешенстве. — Не думаю я о нем, и смывать не думаю! Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь!»

И с усмешкою дьявола он думает: «А любопытно, неужели в эти будущие пятна-

дцать — двадцать лет так уже смирится душа моя, что с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя ко всякому слову разбойником?.. Каким же процессом может это произойти? И зачем, зачем же жить после этого?»

Уже будучи на каторге, «он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошлом, кроме разве простого *промаха*... И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. *Но он не раскаивался в своем преступлении*... Вот в чем одном признавал он свое преступление: *только в том, что не вынес его и сделал явку с повинной*».

В конце романа Достоевский сообщает, что в Раскольникове произошел какой-то переворот, что он возродился к добру. «Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен».

С «самостоятельным хотением» вступает в жизнь и Подросток. На груди у него документ,

дающий ему шантажную власть над гордою красавицею, а в голове — «идея». Идея эта — уединение и могущество. «Мне нужно то, что приобретается могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества; это — уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода. Я начертил, наконец, это великое слово... Да, уединенное сознание силы — обаятельно и прекрасно»...

«Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать и уйти к себе? К себе, одному себе! Вот в чем вся моя „идея“».

Действительность оказывается более сложною и менее гнусною, чем предрешил Подросток. В падениях своих и унижениях он незаметно теряет идею. Для умудренного опытом юноши наступает «новая жизнь». Но опять — «в записки мои все это войти уже не может, потому что это — уж совсем другое».

Ставрогин — у него «идеи» нет. Его даже раздражает, когда все вокруг навязывают ему какие-то идеи. Он «не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою шуткой и каким угодно подвигом, хотя

бы даже жертвой жизнью для человечества». Он «в обоих полюсах нашел одинаковость наслаждения», стер все «черты» и как будто живет всюду. Но одинаково во всем перед ним открывается темная, мертвая пустота, и он убивает себя. В предсмертном письме Ставрогин пишет: «Я могу пожелать сделать доброе лицо и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут».

Иван Карамазов учит: «Так как бога и бессмертия нет, то новому человеку позволено стать человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире, и с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится... Все дозволено». Мысли свои Иван сообщает лакею Смердякову, Смердяков убивает отца-Карамазова при молчаливом невмешательстве Ивана. Иван идет в суд доносить на себя. И черт спрашивает его:

«Для чего же ты туда потащишься, если

жертва твоя ни к чему не послужит? А потому, что ты сам не знаешь, для чего идешь! О, ты много бы дал, чтобы узнать самому, для чего идешь!.. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь, и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты не решался, а решение уже не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь — это уж сам угадай, вот тебе загадка!»

Какое-то глубокое, неслучайное бессилие разъедает у Достоевского всех людей, дерзающих проявить самостоятельное свое хотение. Как в отчине Неточки Незвановой, в них все время происходит «отчаянная, лихорадочная борьба судорожно-напряженной воли и внутреннего бессилия».

«Нянька будет моя!» — думает Раскольников про Соню Мармеладову. Ставрогин говорит Дарье Павловне: «Мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики попримечательнее перед другими». Лиза говорит ему же: «Не хочу я быть вашею сердобольною сестрою, хотя

вы всякого безногого и безрукого стоите». Версилов жене: «Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь, — так кто же будет лечить меня от испуга, где же взять ангела, как Соню?» Подросток пишет про себя: «Валялась на постели какая-то соломинка, а не человек, — и не по болезни только!» Иван Карамазов жалуется Алеше на черта: «Он меня трусом назвал! „Не таким орлам воспарять над землей!“ Это он прибавил!»

Один только из всех героев Достоевского находит в себе достаточно силы, чтобы бесповоротно переступить черту и заявить своеволие до конца. Это Кириллов в «Бесах». И как же чудовищно жалко это торжество человеческого своеволия, каким ужасным поражением выглядит победа!

«Вся свобода, — учит Кириллов, — будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. *Вот всему цель.*

— Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?

— Никто, — произнес он решительно.

Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и чело-

век несчастен. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Тот — бог. Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, — есть нелепость. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Имя его будет человекобог... Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.

— Не успеет, может быть, — заметил я.

— Это все равно, — ответил Кириллов тихо, с покойною гордостью, чуть не презрением».

Как «все равно»? Дело вот в чем: «Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо». «В этой идее для Кириллова как будто заключалась чуть не победа».

И вот происходит торжественное вступление человека в царство свободы, светлое пре-

ображение человека в бога:

«В углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов и стоял ужасно странно — неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стусеваться и спрятаться. Петр Степанович остановился, пораженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не шевельнулась ни одним своим членом, — точно восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространство. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу „этого мерзавца“, поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка, — точно тот угадал его мысль. Он задро-

жал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо.

Затем произошло нечто безобразное и быстрое. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал и вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец, палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики:

— Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!..

Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел».

Кириллов стал «богом»... Чудовищные призраки пляшут вокруг и хохочут и приветствуют возвращение человека в недра первозданного хаоса.

VI

Извлечение квадратного корня

В чем же дело? Почему неизбежно подкашиваются бессилием попытки любимейших героев Достоевского зажить свободною, цельною жизнью? Почему никому не удастся испытать светлое торжество «самостоятельного хотения»?

Да потому что на живое самостоятельное хотение ни у кого из них мы не видим даже намека. Кто из упомянутых героев действительно цельно, широко и свободно проявляет себя? Никто. Никто не живет. Каждый превратил свою живую душу в какую-то лабораторию, сосредоточенно ощупывает свои хотения, вымеривает их, сортирует, уродует, непрерывно ставит над ними самые замысловатые опыты, — и понятно, что непосредственная жизнь отлетает от истерзанных хотений.

Чуткий, благородный, самоотверженный Раскольников совершает бессмысленнейшее,

никому не нужное убийство единственно для опыта над собою: посмеет ли он «переступить черту»?

«Неужели ты думаешь, — говорит он Соне, — что я, как дурак, пошел очертя голову? Я пошел, как умник, и это-то меня и сгубило! И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: вошь ли человек? — то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет... Разве так идут убивать, как я тогда шел? Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки!»

Иван Карамазов после последнего своего свидания со Смердяковым решает идти в суд заявить на себя, то есть возвратиться по сю сторону «черты». На улице он спотыкается на замерзающего в снегу мужичонку, — час-другой назад сам же Иван ни за что, ни про что свалил его толчком в снег. Иван тащит мужичонку, вызывает людей, щедрою рукою сыплет деньги, чтобы спасти его. «Иван Федорович остался очень доволен. — Если бы не бы-

ло взято так твердо решение мое на завтра, — подумал он вдруг с наслаждением, — то *не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет...*»

Всего замечательнее, что ведь и действительно в таком случае не остановился бы! И не потому не остановился бы, что ему не было бы жалко мужичонку, — нет! В качестве «переступившего черту» он прямо счел бы себя *не в праве* остановиться!

Ставрогин — это еще более форменный экспериментатор, вернее фанатический фетишист «черты». Он только и делает, что упражняется в переступании черты и ищет для себя «бремени». Для этого он женится на слабоумной девице Лебядкиной, публично сносит пощечину Шатова, объявляет о своем браке с Лебядкиной, не мешает ее убийству. Никакой цели у Ставрогина нет, которая бы освящала его упорное шагание через черту. Черта сама по себе становится для него какой-то противоестественною, самодовлеющею целью. «Я пробовал везде мою силу, — пишет он в предсмертном письме. — *На пробах для себя и для*

показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. Но к чему приложить эту силу, — вот чего никогда не видал, не вижу и теперь... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы: *но я не люблю и не хотел разврата*»...

Кириллов — детски прекрасная, благородная душа, ясно и чисто звучащая на всё светлое в жизни. Но его, как и всех других, «съела идея». Человек обязан заявить своеволие, всё на свете — «всё равно», и «всё хорошо». «Кто с голоду умрет, кто обидит и обесчестит девочку, — хорошо. И кто разmozжит голову за ребенка, и то хорошо, и кто не разmozжит, и то хорошо. Всё хорошо».

И Кириллов заставлял себя спокойно смотреть на всякую гнусность, пишет под диктовку Верховенского предсмертное письмо, в котором берет на себя подлое убийство Шатова. В восторге вопит:

«Кому объявляю? Всеми миру? Bravo! И чтобы не надо раскаяния. Не хочу, чтобы раскаиваться!»

Можно ли больше коверкать, ломать свою душу, чем делают эти люди, и все, им подоб-

ные! Ведь здесь такой надрыв, такой надрыв, что страшнее становится за человека, чем от самого зверского злодейства!

Происходит что-то совершенно непостижимое. Человек стоит перед «чертою». Кто-то запретил ему переступить черту. Человек свергнул того, кто запрещает, и стер черту. Казалось бы, перед человеком свободно открылся мир во всем разнообразии его возможностей. Человек может идти, куда *хочет*. Но не так для героев Достоевского. Переступили черту — и стоят. Им за чертою-то, может быть, делать нечего. Однако они стоят, смотрят назад и не отрывают глаз от линии бывшей черты.

Дьявол толкнул их на «самостоятельное хотение», на желание переступить черту. Но свободное хотение это они спешат немедленно превратить в «идею», более того — в своеобразный *долг*. И начинается какое-то неслыханное, противоестественное, бесцельное подвижничество — подвижничество во имя дьявола. Сознательно закрываются глаза на живую жизнь вокруг, истязается и кастрируется душа. Огонь самых пламенных стремле-

ний, трепет глубочайших дум, нечеловеческое напряжение воли — все самоотверженно несут эти подвижники на свою «черту». Весь мир, вся жизнь для них — в этой узенькой черте.

Подвижничество всегда нравственно красиво. Вот почему таким глубоким благородством дышат и эти дьяволы подвижники. Но зло, как цель, совершенно несовместимо с подвижничеством. Вот почему подвижники эти так вопиюще неестественны и фантастичны. В жизни они совершенно невероятны, в действительности никогда не было и не могло быть ни Раскольниковова, ни Кириллова, ни Ивана Карамазова. Был только один-единственный такой подвижник — сам Достоевский, и то он мог быть им только потому, что подвижничество свое проделывал в духе, а не в жизни.

«Рассудок, господа, — пишет подпольный человек, — есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок, а хотение есть проявление всей жизни, т. е. всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша, в этом про-

явлении, выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня... Рассудок — только какая-нибудь одна двадцатая доля всей моей способности жить. Натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет... Мы — мертворожденные, да и рождаемся-то, давно уж, не от живых отцов, и это нам все более нравится. Скоро выдумаем родиться как-нибудь от идеи».

Есть у Льва Толстого один образ человека, «переступившего черту». Это Долохов в «Войне и мире». Никаких над ним нет «норм», кроме «самостоятельного хотения». «От него самого происходит суд его и власть его», — как говорит пророк Аввакум про народ халдеев. Долохов зверски жесток и женственно-нежен, лихой смельчак и подлый шулер. Во всех отношениях он неизмеримо ниже Раскольников или Ивана Карамазова. Но в нем одно есть, чего нет в них — живая жизнь. И прямо эстетически отдыхаешь душою, глядя, как, с наглою улыбкою в выпуклых глазах, он шагает через «черту», даже не видя ее, мимо всех

ЭТИХ скорбных, немощных жизнью подвижников, застывших над чертою в сосредоточенном извлечении из нее квадратного корня.

VII

Бифштекс на жестяном блюде

Есть у Достоевского другие герои: в извлечении квадратного корня они неповинны, теорией «черты» нисколько не интересуются, хотений «нормальных» и «добродетельных» не признают, а просто живут, проявляя себя и свое «самостоятельное хотение». Характерен среди них Свидригайлов. И чрезвычайно замечательно загадочное, очень трудно понимаемое отношение к нему Раскольников.

Никаких «норм» Свидригайлов над собою не знает. С вызывающим и почти простодушным цинизмом он следует только своему «самостоятельному хотению». Нет мерзости и злодейства, перед которыми бы он остановился. Он изнасиловал малолетнюю девочку, довел до самоубийства своего дворового человека. Конечно, не смигнув, подслушивает за дверями, конечно, развратник и сладострастник. И решительно ничего не стыдится.

«— Вы, кажется, игрок?

— Ну, какой я игрок. Шулер — не игрок.

— А вы были шулером?

— Да, был и шулером.

— Что же, вас бивали?

— Случалось...»

Но этот же Свидригайлов берет на себя устройство детей умершей Мармеладовой, хлопочет за них, помещает в сиротские заведения, собирается вытащить из омута проститутку Сою Мармеладову.

«— С какими же целями вы так разблаготворились? — спросил Раскольников.

— Э-эх! Человек недоверчивый! — засмеялся Свидригайлов. — Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, а просто, по человечеству, не допускаете, что ль?»

После этого-то поступка Свидригайлова в отношении к нему Раскольникова и появляется та загадочность, о которой я говорил.

Дела Раскольникова уже очень плохи, он близок к тому, чтоб идти и донести на себя.

«В последнее время Раскольников, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не

то, чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее... Было что-то требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось».

Раскольников мечется в своей каморке. Морщась от стыда, он вспоминает о последней встрече с Соней, о своем ощущении, что в ней теперь вся его надежда и весь исход. «Ослабел, значит, — мгновенно и радикально! Разом! И ведь согласился же он тогда с Соней, сердцем согласился, что так ему одному с таким делом на душе не прожить! А Свидригайлов?.. Свидригайлов загадка... Свидригайлов, может быть, тоже целый исход».

Сам Свидригайлов держится так, как будто он действительно знает какой-то исход. Случайно встретившись с Раскольниковым на лестнице, он говорит:

«Да что вы, Родион Романыч, такой сам не свой? Вы ободритесь. Вот дайте поговорим... Эх, Родион Романыч, — прибавил он вдруг, — всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!»

Непонятные слова эти глубоко западают в

душу Раскольниковова. Он говорит Разумихину: «Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим понимает».

Происходит последняя беседа Раскольниковова с Порфирием. Порфирий дает ему срок денек-другой и советует добровольно пойти и заявить на себя.

Расставшись с Порфирием, Раскольников спешит к Свидригайлову. «Чего он мог надеяться от этого человека, он и сам не знал. Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним... Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. *Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, — о нем же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное...*»

«И он спешил к Свидригайлову; уж не ожидал ли он чего-нибудь от него нового, указаний, выхода? И за соломинку ведь хватаются! Может быть, это была только усталость, отчаяние; может быть, надо было не Свидри-

гайлова, а кого-то другого, а Свидригайлов так тут подвернулся. Соня? Но Соня была ему страшна. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. *Тут — или ее дорога, или его.* Нет, не лучше ли испытать Свидригайлова: что он такое? И он не мог не сознаться внутри, что действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен.

Ну, однако ж, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково. Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, хитер, может быть, очень зол. *Правда, он хлопотал за детей Катерины Ивановны; но кто знает, для чего и что это означает?»*

Встреча происходит — и почему-то совершенно разочаровывает Раскольникова. «Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. *В Свидригайлове он убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире...*» «И я мог хоть мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца!»

А чего же он ждал от Свидригайлова?

От Сони Раскольников ушел потому, что там была «или ее дорога, или его». Ее дорога — возвращение по сю сторону черты, к добру. Его дорога — пребывание за чертою, скорбное подвижничество во имя дьявола. Какой же дороги он ждал от Свидригайлова?

Во время этой последней их беседы, когда Свидригайлов, хохоча над Раскольниковым, с задирающим цинизмом выкладывает перед ним всю свою душевную грязь, Раскольников снова вспоминает о детях Мармеладовой.

«— *Вы однако ж пристроили детей Катерины Ивановны.* Впрочем... впрочем, вы имели на это свои причины... я теперь все понимаю».

Неужели хлопоты Свидригайлова о детях Катерины Ивановны внушили было Раскольникову предположение, что Свидригайлов каким-то образом сумел не переступить только, а действительно стереть «черту»? Что он в себе — *один*, что вокруг него тот вольный воздух, воздух, воздух, которого нет в душной психологической лаборатории Раскольникова?

Однажды, много раньше, в жизни самого Раскольникова было мгновение, когда ему вдруг почудился вокруг этот вольный воздух. Он доставил раздавленного каретою Мармеладова на квартиру и отдал его жене свои последние двадцать рублей.

«Раскольников сходил по лестнице тихо, не торопясь, весь в лихорадке, полный одного нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение».

На лестнице он беседует с полицейским приставом, который одно время подозревал его в убийстве старухи.

«— А как вы однако ж кровью замочились, — заметил пристав, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.

— Да, замочился... *Я весь в крови!* — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице».

Он «весь в крови». В крови старухи, кото-

рую убил, и в крови Мармеладова, которого спасал.

Раскольников останавливается на мосту, — несколько часов назад он с этого моста хотел броситься в воду.

«— Довольно! — произнес он решительно и торжественно. — Прочь миражи, прочь напускные страхи! Есть жизнь! Разве я сейчас не жил?»

Но вполне очевидно, что жизнь он видит вовсе не в простом возвращении к «доброму». От убитой старухи он не думает отречься.

«Царство ей небесное и, — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь! И... и воли, и силы... *И посмотрим теперь! Померяемся теперь!* — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее».

«Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? — спрашивает Достоевский. — Да он и сам не знал; ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему. „можно жить, что есть еще жизнь“. Может быть, он слишком поспешил с заключением, но он об этом не думал».

Так вот: не ожидал ли он теперь найти в Свидригайлове эту «полную жизнь», это умение нести на себе две крови, умение вместить в своей душе благодарный лепет Полечки Мармеладовой и вопль насилуемой племянницы г-жи Ресслих? Может быть, в глубине души самого Достоевского и жила безумная мысль, что вообще это каким-то образом возможно совместить. Но только полную растерянностью и отчаянием Раскольникова можно объяснить, что он такого рода ожидания питал по отношению к Свидригайлову.

Свидригайлов, конечно, разочаровывает Раскольникова.

Однако Раскольников не замечает, что на его безмолвный вопрос Свидригайлов дает ему ужасающий, но совершенно точный ответ.

«— Ведь вы пришли ко мне теперь за чем-нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? — настаивал Свидригайлов с плутоватою улыбкою. — Ну, представьте же себе после этого, что я сам-то, еще ехав сюда, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете чего-нибудь новенького, и что вот от вас же удастся

мне чем-нибудь позаимствоваться! Вот какие мы богачи!

— Чем это позаимствоваться?

— Да что вам сказать? Разве я знаю, чем?

Видите, в каком трактиришке все время просиживаю, и это мне всласть, т. е. не то чтобы всласть, а так, надо же где-нибудь сесть... Ну, был бы я хоть обжора, клубный гастроном, а то ведь вот что могу есть! (Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике, на жестяном блюде, стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем.)»

Свидригайлов видит Раскольникову насквозь. Видит, что в свое дьяволово подвижничество он только спасается от невыносимости душевных противоречий, что подвижничество Раскольникову — не более, как «ужасный бифштекс с картофелем». Но такой у него самого в душе хаос, что ему не до гастрономии. Он рад бы удовольствоваться хотя бы даже раскольниковским «бифштексом», и бифштекс этот был бы ему «всласть, — то есть, не то чтобы всласть, а так», надо же что-нибудь есть, чтоб не умереть... «Вот какие мы богачи!» «Идея» Раскольникову, мучениче-

ски-упорное извлечение им квадратного корня — это все-таки дает хоть призрак жизни, дает силу не чувствовать смертной боли разрывающейся на куски души.

И, злобно смеясь, Свидригайлов вскрывает перед Раскольниковым всю чепуху противоречий, которой Раскольников старается не замечать.

«Но, однако, что же это такое? Объясните, ради бога, голубчик! Вы вот все охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай... Если вы убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку... Понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Хе-хе! Затем, что всё еще и гражданин, и человек? А коли так, и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться».

VIII

«Вот какие мы богачи»

В последнюю ночь перед самоубийством Свидригайлов в полубреду вспоминает про Раскольникова.

«А шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большой шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ — подлецы».

Самому Свидригайлову *слишком* жить не хочется. Отдав душу свою на растерзание «самостоятельным хотениям», он с наружным спокойствием и с холодным отчаянием в душе идет к самоубийству.

Раскольников убедился в нем, как в грубом злодее, сладострастном развратнике и подлеце. Но Достоевский замечает, что заключение Раскольникова было неправильно. И, действительно, Свидригайлов гораздо «оригинальнее», чем думает Раскольников. «Оригинальность» эта ярко вскрывается в чудовищ-

ной сцене последнего его свидания с Дунейю.

Свидригайлов заманил Дуню в свою пустую квартиру. Пытается заставить отдаться ему угрозой, что донесет на ее брата... Когда это не действует, прямо идет на насилие. Дуня выхватывает револьвер.

«— Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь. Ну, это совершенно изменяет ход дела. *Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна!*»

Он идет на нее. Циничными, намеренно пошлыми словами напоминает про то, что было между ними.

«— Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели... Я по глазкам видел; помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?»

Он усмехнулся.

— Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну, и стреляй!»

Дуня стреляет. Пуля слегка задевает голову Свидригайлова. Но он, — этот «грубый злодей, сладострастный развратник и подлец», — он не бросается на Дуню.

«— Ну, что ж, промах! *Стреляйте еще, я жду*, — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно. — Этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!»

Дуня стреляет вторично. Осечка.

«— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее».

Что это происходит? Словно в бредовом кошмаре, мы видим, как человек раздваивается на наших глазах, мучительно распадается на два существа; существа эти схватываются, душат друг друга, и одно из них покупает у другого право на злодейство ценою почти неминуемой смертной опасности.

Дуня бросает револьвер.

«— Так не любишь? — тихо спросил Свидригайлов. — И... не можешь? Никогда? — с отчаянием прошептал он».

Мгновение «ужасной, немой борьбы».

Свидригайлов отходит к окну, не глядя, кладет на стол ключ от выхода.

«— Берите, уходите скорей!.. Скорей!»

«В этом „скорей“ прозвучала страшная нота. Дуня бросилась к дверям.

Странная улыбка искривила лицо Свидригайлова, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния».

Да, Свидригайлов вправе был смеяться над Раскольниковым, видевшим в нем какой-то «исход». Это он-то исход! В душе корчатся и бьются два живых, равновластных хозяина, ничем между собою не связанных. Каждому из них тесно, и ни один не может развернуться, потому что другой мешает. Сам не в силах жить, и не дает жить другому.

«Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — в ужасе говорит Версиков. — Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, бог знает, зачем, т. е. как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил, хотите».

«Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут, — говорит Дмитрий Карамазов. Перенести я не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит! Нет, широк человек, слишком даже широк! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она сидит для огромного большинства людей».

Дело, оказывается, много сложнее, чем казалось раньше. Суть не в том, что какая-то воображаемая черта мешает «самостоятельному хотению» единой человеческой души. Суть в том, что черта эта вовсе не воображаемая. Она глубоким разрезом рассекает надвое саму душу человека, а с нею вместе и «самостоятельное хотение».

Старец Зосима говорит Ивану Карамазову:
«Если вопрос для вас не может решиться в положительную сторону, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете: это

свойство вашего сердца».

То же говорит и Раскольников Дуне, приравнивая ее себе:

«И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, — несчастна будешь, а перешагнешь, — может, еще несчастнее будешь».

Быть самим собою, свободно проявлять самостоятельное свое хотение — это для Достоевского самая желанная, но и самая невозможная, самая неосуществимая мечта. Горит костер, на костре глыба льда. Скажи этой смеси: «будь сама собою!» Огонь растопит лед, растаявший лед потушит огонь, не будет ни огня, ни льда, а будет зловонная, чадающая слякоть. Будет Свидригайлов, Версиков, Дмитрий Карамазов.

«Ну, попробуйте, — пишет подпольный человек, — ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... Да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся обратно в опеку!»

В опеку ли зла, как дьяволы подвижники, в опеку ли добра, как Алеша Карамазов, — это безразлично. Только бы прочь от свободы,

только бы поскорее связать разваливающуюся душу каким бы то ни было долгом.

«Ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы! — говорит Великий Инквизитор. — Они — бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие... Чем виноваты слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?

Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!...» Как жалко, как надсадно звучит теперь этот буйный призыв! Он превращается в скорбный вопль Кириллова:

«Я только бог поневоле, и я несчастен, ибо я обязан заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие... Я ужасно несчастен, ибо я ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие. Только это одно спасет всех людей».

Но уже нет веры ни в осуществимость своеволия, ни в его спасительность. Боец бьется не за победу, а только за то, чтобы погибнуть со знаменем в руке.

Как будто гигантский молот непрерывно

бьет перед нами по жизни и дробит ее на все более мелкие куски. Не только люди одиноки в мире. Не только человек одинок среди людей. Сама душа человека разбита в куски, и каждый кусок одинок. Жизнь — это хаотическая груда разъединенных, ничем между собой не связанных обломков.

IX

Любовь — страдание

Из темных углов, из «смрадных переулков» приходят женщины — грозные и несчастные, с издерганными душами, обольстительные, как горячие сновидения юноши. Страстно, как в сновидении, тянутся к ним издерганные мужчины. И начинаются болезненные, кошмарные конвульсии, которые у Достоевского называются любовью.

Глубокое отъединение, глубокая вражда лежит между мужчиною и женщиною. В душах — любовь к мучительству и мученичеству, жажда власти и жажда унижения, — всё, кроме способности к слиянному общению с жизнью. Душа как будто заклята злым колдуном. Горячо и нежно загораются в ней светлые огоньки любви, но наружу они вырываются лишь темными взрывами исступленной ненависти. Высшее счастье любви — это мучить и терзать любимое существо.

«Любовь, — пишет подпольный человек, — любовь-то и заключается в добровольно даро-

ванном от любимого предмета праве над ним тиранствовать».

В «Униженных и оскорбленных» Наташа «инстинктивно чувствовала, что будет госпожой князя, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая».

Если у Достоевского мужчина ненавидит женщину или женщина мужчину, то читатель должен заключить, что они любят. И чем жесточе ненависть, тем это несомненное.

«— Но какая же ненависть! Какая ненависть! — восклицает Подросток про Версилова. — И за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала?»

— „Не-на-висть!“ — с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна».

Ненависть — любовь, любовь — ненависть...

«Неужели он до такой степени ее любит? — думает Подросток. — Или до такой степени ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он

сам-то?»

Князь Мышкин говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». И Маврикий Николаевич говорит Ставрогину про Лизу: «Из-под непрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает самая искренняя безмерная любовь и — безумие! Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть — самая великая!»

В «Египетских ночах» Пушкина Клеопатра вызывает желающих купить ее любовь ценою казни на следующее утро. Достоевский по этому поводу вспоминает о «сладострасти насекомых, сладострасти пауковой самки, съедающей своего самца». О «сладострасти насекомых» нередко вспоминает он и по поводу любви собственных своих героев.

Если припустить к куриной семье новую курицу, петух немедленно берет ее под свое покровительство. Он заботливо подзывает ее к пище, не дает обижать другим курам. Если она убежит, он отыскивает ее и ведет назад, и нежно что-то говорит ей на их языке: «ко-о!..

ко-о!..» Удивительно и трогательно, до чего доходит эта заботливость. На ночь петух сажает новую свою подругу на самый край на шести, сам садится рядом и таким образом закрывает ее от клевков старых кур. Когда курице приходит время нестись, петух ведет ее к кошелке, где несутся куры, впрыгивает в кошелку, садится, опять выходит, обхаживает курицу, всё время «ко-о! ко-о!» и водворяет ее в кошелку.

Но в низах животной жизни любовь часто уродлива и страшна. У жаб и лягушек самка вываливается из жестоко-страстных объятий самца с продырявленной грудной клеткою, с поврежденными внутренностями, нередко мертвою. Паук подползает к самке с ласками, а она бросается на него и пожирает; или подпустит к себе, отдастся его объятиям, а потом схватит и сожрет.

Жабы и паучихи навряд ли, конечно, испытывают при этом какое-нибудь особенное сладострастие. Тут просто тупость жизнеощущения, неспособность выйти за пределы собственного существа. Но если инстинкты этих уродов животной жизни сидят в человеке, ес-

ли чудовищные противоречия этой любви освещены сознанием, то получается то едкое, опьяняющее сладострастие, которым живет любовь Достоевского.

Страсть сливается уже не с тупым равнодушием к мукам и гибели любимого существа, а с ненавистью к любимому, с *желанием* его мук и гибели.

«Я вас истреблю!» — говорит Версиков Катерине Николаевне. Князь Мышкин, только что познакомившись с Рогожиным, из одного лишь общего впечатления от него выносит уверенность, что если он женится на любимой женщине, то через неделю зарежет ее.

Чем несоединимее люди, чем глубже разъединение, чем чудовищнее противоречия, тем как раз страсть ярче и острее. Свидригайлов рассказывает Раскольникову про свою невесту:

«— Мне пятьдесят, а ей и шестнадцати нет... Ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха!.. Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно, — вся вспыхнула и слезинки брызнули, сама вся горит. Вдруг бросается мне на шею, целует и клянет-

ся, что она будет мне верною и доброю женою, что всем, всем пожертвует, а за всё это желает иметь от меня только „одно мое уважение“. Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, в тюлевом платье, с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, — согласитесь сами, оно довольно заманчиво! Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну... ну, слушайте... ну, поедemте к моей невесте...

— Одним словом, в вас эта чудовищная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие! И неужели вы в самом деле так женитесь?

— А что ж? Непременно».

Шатов в исступлении кричит Ставрогину:

«Знаете ли, почему вы женились тогда так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. Вы женились по страсти к мучительству, по *сладострастию нравственному*. Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен: „Ставрогин — и плюгавая, скудоумная,

нищая хромоножка!“»

Федор Павлович Карамазов умеет находить прелесть в любой «мовешке и въельфильке». Нашел он прелесть и в нищей идиотке Лизавете Смердящей.

Любовь упомянутых низших животных, при всей их дисгармоничности, все-таки дает впечатление силы и какой-то дикой мощи. Глядя на кипящую любовь героев Достоевского, невольно тоже ждешь: вот палящим огнем вспыхнет их сладострастие — зверино-жестокое, страшное, но цельное и самозабвенное, где отпадают все нравственные мерки, где страсть освещает само зверство. Но нет этого. Дух как будто совсем оторван от тела. Тело холодно, немошно и равнодушно, а горит один дух. В духе происходит кипение страсти, в духе переживаются острейшие моменты сладострастия.

Подросток «терпеть не может женщин». Осуществляя в фантазии свою идею о власти над людьми посредством денег, он мечтает.

«Не я буду гоняться за женщинами, а они набегут, как вода, предлагая мне всё, что может предложить женщина. Я буду ласков с

ними и, может быть, дам им денег, но сам от них ничего не возьму. Они уйдут ни с чем, уверяю вас, — только разве с подарками. Я только вдвое стану для них любопытнее.

**...с меня довольно
сего сознания».**

Дмитрий Карамазов предлагает Катерине Ивановне нужные ей деньги под условием, чтобы она «секретно» пришла к нему на квартиру. Для нее это единственное средство спасти отца, и надменная красавица приходит.

«Вдруг за сердце, слышу, укусила фаланга, злое-то насекомое, понимаешь? Обмерил я ее глазом. От меня, клопа и подлеца, она вся зависит, вся, вся кругом, и с душой, и с телом. Очерчена. Эта мысль, мысль фаланги, до такой степени захватила мне сердце, что оно чуть не истекло от одного томления... Взглянул я на девицу, и захотелось мне подлейшую, поросячью, купеческую штучку выкинуть: поглядеть это на нее с насмешкой и тут же огорошить ее с интонацией, с какою только купчик умеет сказать:

„Это четыре-то тысячи на такое легкомыслие кидать! Да я пошутил-с, что вы это? Со-

тенки две я, пожалуй, с моим даже удовольствием“».

Конечно, Катерина Ивановна в таком случае ушла бы. Но какой же бы за это сладострастный миг был пережит *в душе!* Что в сравнении с ним сладость насильственного телесного обладания красавицею!

Усилием воли Дмитрий побеждает порыв своего «нравственного сладострастия» и благородно отдает Катерине Ивановне деньги, ничего от нее не требуя. Пораженная Катерина Ивановна кланяется в ноги и уходит.

Сам Дмитрий в восторге от своего поступка. Но что вызвало этот поступок? Только ли «искра божия», вспыхнувшая в разнузданном хаме? Или, рядом с нею, тут было все то же утонченное нравственное сладострастие, которого здоровой крови даже не понять: «Вся от меня зависит, вся, вся кругом, и с душой, и с телом. Очерчена». А он, как Подросток в своих сладострастных мечтах: «они набегут, как вода, предлагая мне всё, что может предложить женщина. Но я от них ничего не возьму. С меня довольно сего сознания».

И Катерина Ивановна, по-видимому, поня-

ла, какие тайные наслаждения дала она пережить Дмитрию своим посещением. «И самая первая встреча их осталась у ней на сердце, как оскорбление», — сообщает Иван. И сам Дмитрий впоследствии говорит про Катерину Ивановну:

«Благороднейшая душа, но меня ненавидевшая давно уже, о, давно, давно... и заслуженно, заслуженно ненавидевшая!.. Давно, с самого первого раза, с самого того, у меня на квартире еще там...»

Конечно, ненависть эта нисколько не мешает Катерине Ивановне любить Дмитрия. Но иначе она и не была бы женщиною Достоевского. Даже если бы Дмитрий опозорил ее на своей квартире, и это бы не помешало ей любить его. Другая Катерина в повести «Хозяйка» говорит:

«То мне горько и рвет мне сердце, что я рабыня его опозоренная, что позор и стыд мой самой, бесстыдной, мне, люб, что любо жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье, — в том мое горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою».

Раздражающая отъединенность духа от те-

ла, хилость связи между ними делает героев Достоевского совершенно неспособными к яркой, цельной страсти. Что произошло между Ставрогиным и Лизой в Скворешниках в ночь пожара? У нее утром — «неплотно застегнутая грудь», видно, что она раздевалась. Но случилось что-то загадочное, Ставрогин сконфужен, и странен их разговор. Шут-Верховенский говорит:

«Представьте, я ведь тотчас же, как вы вошли ко мне, по лицу догадался, что у вас „несчастье“! Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь об заклад, что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве спорили всё драгоценное время!»

И, однако, если что, то лишь «нравственное сладострастие» и мучительство способно «горячим угольком» зажечь кровь. А нет этого горячего уголька — кровь холодна, тело спит, как мертвое. Любовь возможна, но любовь — бестелесная, та, которую наши хлысты-богомолы называют «сухой любовью». Либо жестокое сладострастие, либо сухая любовь.

Раскольников любит Сою Мармеладову. Но как-то странно даже представить себе, что это любовь мужчины к женщине. Становишься как будто двенадцатилетнею девочкою и начинаешь думать, что вся суть любви только в том, что мужчина и женщина скажут друг другу: «я люблю тебя». Даже подозрения нет о той светлой силе, которая ведет любящих к телесному слиянию друг с другом и через это телесное слияние таинственно углубляет и уяряет слияние душевное.

Князь Мышкин любит Настасью Филипповну, любит Аглаю, собирается жениться то на той, то на другой. И однако...

«Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь, по прирожденной болезни моей, даже совсем женщин не знаю».

И он бросается от одной к другой.

«— Я как только, просто женюсь, да и что в том, что женюсь... Аглая Ивановна поймет...

— Нет, князь, не поймет, — возражает Евгений Павлович, — Аглая Ивановна любила, как женщина, как человек, а не как... отвлеченный дух».

Но вот Рогожин. Казалось бы, уж его-то

страсть к Настасье Филипповне чисто звериная. Тяжелая, плотская, безудержная. Даже ответной любви ему не надо, он готов купить ее за деньги. Страсть стихийно грозная и страшная. С самого начала все чувствуют, что она пахнет кровью. Однако пахнет она только кровью. Каждую минуту Рогожин может забыться духом и зарезать Настасью Филипповну; но никогда он не забудется *телом* и не овладеет ею. В этом отношении и сама Настасья Филипповна несколько не боится его, спокойно оставляет у себя ночевать. На вид плотски-звериная страсть Рогожина в действительности упадочна, бесплотна. И в страшную последнюю ночь, когда Настасья Филипповна осталась ночевать у Рогожина, удары ножа в теплое, полуобнаженное тело, по-видимому, с избытком заменили ему объятия и ласки.

Да и сама вакханка Настасья Филипповна, другая вакханка, Грушенька, полно, вправду ли они женщины? Не обольстительные ли это призраки, лишенные плоти и крови? Опьяненно крутятся в вихре поднятых ими страстей, исступленно упиваясь своими и чу-

жими муками, они испуганно ускользают из устремленных объятий, и жадные руки хватают только воздух. Способны ли они опьяниться страстью, хоть на миг забыться в цельном, самозабвенном экстазе? В горячих объятиях Дмитрия, сама как будто опьяненная, Грушенька все же шепчет ему: «подожди, потом...» И если бы в эту ночь Дмитрия не арестовали, конечно, назавтра призрак Грушенька опять начала бы с ним свою дразнящую, мучительную игру. И иначе не могло бы быть. Тут мы подходим к самому страшному и темному, что есть в страшной и темной любви людей Достоевского.

Что бы действительно было, если бы на Дмитрия не пало подозрение в отцеубийстве и он соединился бы с Грушенькой? Что бы было?.. Не надо и ответа. От одного лишь вопроса оргийно мятущееся грозное море превращается в плоское, отвратительное болото.

Подпольный человек пишет: «В мечтах своих подпольных я иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненавистью и кончал нравственным покорением, *а потом уж и представить себе не мог,*

что делать с покоренным предметом».

И правда. Ну, что, например, делать потом Дмитрию Карамазову с Грушенькой, Ставрогину — с Лизой, Рогожину — с Настасьей Филипповной? Если не откроется выхода в безумие, в самоубийство или убийство, то остается только один выход — пошлость. Рогожин зарезал Настасью Филипповну. А если бы они соединились? Через пять лет она — противная, истеричная баба, без красоты, освещавшей ее изломанность. Он... Да нет, он все равно бы раньше ее зарезал, а женился бы на другой. Женился бы и — как предсказывает князь Мышкин — «засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, только деньги молча и сумрачно наживая... да на мешках своих с голоду бы и помер».

«Друг мой, — сказал Версилов грустно, — я часто говорил Софье Андреевне в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце: „Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты передо мною, а ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью“».

Лиза говорит Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь».

И с обычною своею безбоязненностью перед настоящим словом рисует Дмитрий Карамазов будущую свою жизнь с Грушенькою:

«Драться будем!»

Нет, лучше назад, к прежним страданиям и мукам! Может быть, их было слишком мало. Еще увеличить их, еще углубить, — не явится ли хоть тогда возможность жизни?

«Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье, — говорит Наташа Ихменева, — купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием всё очищается».

Х

Недостойные жизни

Задавленный безумным страхом смерти, Кириллов учит: «Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек».

Герои Достоевского не «новые люди». Мы видели, мысль о смерти пробуждает в них тяжелый, мистический ужас; они не могут без содрогания думать «об этом мраке». Если нет личного бессмертия, то жизнь человека превращается в непрерывное, сосредоточенное ожидание смертной казни.

У осужденного на смерть своя психология. В душе его судорожно горит жадная, все принимающая любовь к жизни. Обычные оценки чужды его настроению. Муха, бьющаяся о пыльное стекло тюремной камеры, заплесневелые стены, клочок дождливого неба — все вдруг начинает светиться не замечавшеюся раньше красотой и значительностью. Замена смерти вечною, самую ужасною каторгою представляется неоценимым блаженством.

«Где это, — подумал Раскольников, — где

это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать. Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить, только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлецом называет! — прибавил он через минуту».

«Кажется, столько во мне этой силы теперь, — говорит Дмитрий Карамазов, — что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь, но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть».

Это судорожное цепляние за жизнь жизненно-бессильных душ очень легко смешать со здоровою силою несокрушимого жизнен-

ного инстинкта. В такую ошибку впадет Алеша Карамазов в беседе своей с братом Иваном.

«Не веруй я в жизнь, — говорит Иван, — разуверься я в порядке вещей, убедись даже, что всё, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, — а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! *Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду... не знаю куда...* Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, всё победит моя молодость, — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни... Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь».

«— Нутром и чревом хочется любить, — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится».

Алеша заключает, что для Ивана половина дела его уже сделана. Но он глубоко заблуждается, дело жизни для Ивана и не начиналось, — вернее, давно уже кончилось. Свою «жажду жизни, несмотря ни на что», Иван сам готов признать *«неприличною»*. Жить дольше тридцати лет он не хочет: «до семидесяти подло, лучше до тридцати: *можно сохранить „оттенок благородства“, себя надувая»*.

Цельный, самим собою сильный инстинкт жизни говорить так не может. Ему нет нужды «надувать себя», он верит в свои силы, не рассчитывает их на определенный срок. Прежде же и главнее всего — для него вполне несомненна святая законность своего существования. Жизненный же инстинкт, который *сам стыдится себя*, который сам спешит признать себя «подлым» и «неприличным», это не жизненный инстинкт, а только жалкий его обрывок. Он не способен осиять душу жизнью, — способен только ярко осветить ее

умирание.

Отношение к жизни Ивана Карамазова характерно вообще для героев Достоевского. Подпольный человек пишет: «Дольше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет».

Жадно цепляясь за жизнь, человек все время чувствует в глубине души, что жить он не только не способен, а просто *не достоин*.

«Я живуч, как дворовая собака, — говорит Версилов. — Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю, хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела; *но любить жизнь такому, как я, — подло...* И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да; но идея эта уж слишком безотрад-на...»

«Жизнь люблю, слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко, сознается Дмитрий Карамазов. — Червь, ненужный червь проползет по земле, и его не будет... — Смотрит он на дерево. — Вот ракита. Веревку сейчас можно свить и — не бременить уже

более землю, не бесчестить низким своим присутствием».

И Ставрогин в предсмертном своем письме пишет: «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое».

Как змеи, сплетаются в клубок самые не согласные, самые чуждые друг другу настроения: страх смерти и чувство неспособности к жизни, неистовая любовь к жизни и сознание себя недостойным ее. Ко всему этому еще одно: странный какой-то инстинкт неудержимо влечет человека к самоуничтожению. Страшная смерть полна властного очарования, человек безвольно тянется к ней, как кролик, говорят, тянется в разверстую пасть удава.

«Я думаю, — пишет Достоевский, — что много самоубийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки».

«Если бы у меня был револьвер, — говорит Подросток, — я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Если торчит вот это перед глазами, — право, есть минуты, что и соблазнит».

И вот то и дело приходят неожиданные ве-

сти: «Свидригайлов застрелился!», «Ставрогин повесился!», «Крафт застрелился!», «Смердяков повесился!» Дух беспощадного самоистребления носится над этим миром неудержимо разваливающейся жизни. Романы Достоевского кишат самоубийствами, словно самоубийство — это нечто самое обыденное, естественное и необходимое в жизни людей.

Как будто перед нами — чуть только начинающий организовываться темный хаос. Робко вспыхивают в нем светящиеся огоньки жизни. Но они настолько бессильны, настолько не уверены в себе, что маленького толчка довольно — и свет гаснет, и жизнь распадается.

Есть в семействе иглокожих странные существа, называемые голотуриями. Если тронуть голотурию, схватить ее рукою, она судорожно сокращается и распадается на куски. Вследствие этого до сих пор никто никогда не видел целого экземпляра голотурии.

Наблюдая человека как его рисует Достоевский, то и дело приходится вспоминать самые уродливые, самые дисгармонические явления в мире животных те уклонения, ошиб-

ки и неудачные «пробы», которые делает природа в трудной своей работе по гармонизации жизни.

Человек — вместилище всех самых болезненных уклонений жизненного инстинкта. Ближе, чем всякому другому существу, ему знаком, как выражается Достоевский, «роковой круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения». Как в биологической, так и в моральной области, человек неудержимо тянется ко всему, что уродует, ломает и разрушает его жизнь. Это явление Ницше справедливо считает характернейшим признаком упадничества. С ужасом человек чувствует над собой власть страшной силы, но противиться ей нет ни воли, ни даже желания. Так тянется к сжигающему огню ночная бабочка. Мелькнул огонек, — и бабочка устремляется к нему, бьется о раскаленное стекло лампы, обжигается падает и опять взлетает, и бьется опять.

«У Раскольниковова засверкали глаза; он ужасно побледнел, верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ниче-

го не произнося; так длилось с полминуты; он знал, что делал, но не мог сдержать себя. Страшное слово так и прыгало на его губах: вот-вот сорвется; вот-вот только спустить его, вот-вот только выговорить!

— А что, если это я старуху и Лизавету убил? — проговорил он и вдруг опомнился...

Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого, истерического ощущения, в котором, между тем, была часть *нестерпимого наслаждения*.

С тем же наслаждением Раскольников дергает звонок в квартире, где убил старуху, жадно прислушивается к жестяным звукам, возбуждая подозрение столяров. С тем же наслаждением тянется в цепкие лапы сладострастного хихикающего Порфирия.

*Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане.
Средь диких волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...*

Но для разных людей наслаждения эти очень различны.

В «Войне и мире» Долохов с Петею Ростовым, переодетые французскими офицерами, проникают во французский лагерь. Они сидят с французами у костра, расспрашивают их. У французов рождается подозрение.

«Офицер, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз, какого он был полка. Долохов не отвечал, как будто не слышал вопроса, и, закуривая трубку, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков.

— Ну, теперь он уедет, — всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.

Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов.

Французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.

— Bonjour, messieurs, — сказал Долохов.

Офицеры что-то шепотом говорили между собой. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла, потом шагом поехал из ворот».

Несомненно, глядя в лицо грозящей гибели, Долохов испытывает огромное наслаждение.

Но представим себе, что вместо Пети рядом с Долоховым сидит у костра... Раскольников. Он бледнеет, губы его дергаются; страшное слово так и прыгает на губах. «Он знает, что делает, но не может сдержать себя». Его охватывает дрожь от какого-то дикого, истерического ощущения, и страшное слово срыгается с губ:

— А что, *messieurs*, если мы не французские офицеры, а русские лазутчики?

Конечно, и Раскольников испытал бы при этом неизъяснимое наслаждение. Сумел ли бы, однако, Толстой выразить всю силу презрения и гадливого отвращения, которое охватило бы Долохова при виде наслаждения Раскольникова! Обоим им — и Долохову и Раскольникову — понятна привлекательность ужаса и «грозящей гибели». Но для До-

Долохов наслаждением является преодоление ужаса, *торжество воли*, для Раскольникова же — безоглядное растворение себя в ужасе, *исчезновение воли*. «Грозящая гибель» для Долохова — могучий враг, с которым весело схватиться, для Раскольникова — любовница-вампир; в ее объятия безвольно тянется человек, замирая от ужаса.

Характерно вообще для героев Достоевского это полное исчезновение воли перед лицом саморазрушительных инстинктов души.

«Странно, — пишет Подросток, — во мне всегда была такая черта: коли уж мне сделали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня *неутолимое желание подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желаниям обидчика*.

— На-те, вы унизили меня, так я еще пуще сам унижусь, вот смотрите, любуйтесь!»

Подпольный человек навязывается на обед к компании, провожающей своего товарища Зверкова. Ему весьма ясно дают понять, что он никому на обеде не желателен. «Я бесился, потому что наверное знал, что поеду,

что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее мне будет ехать, тем скорее и поеду». Едет. На обеде его третируют, он глупо и нагло всех задирает. От него отворачиваются, усаживаются веселой компанией в уголке, а он в течение трех часов с вызывающим видом гуляет вдоль стены кабинета. «Порой с глубочайшей, с ядовитой болью вонзалась в мое сердце мысль, что пройдет двадцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно». Но он еще и еще унижает себя. Все едут «туда». Он выклянчивает у них же денег и увязывается следом. У него созревает решение дать Зверкову пощечину. «С ужасом я ощущал, что это ведь уже непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя».

Раскольникову до убийства еще снится кроваво-кошмарный сон.

«Да что же это я! — воскликнул он в глубоком изумлении. — Ведь я знал же, что я этого

не вынесу, так чего же я до сих пор себя мучил? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко... Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило.

Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!»

Но на улице он случайно слышит, что завтра, в семь часов вечера, старуха будет в квартире одна. Раскольников охватывает ужас.

«Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него ни свободы рассудка, ни воли, и что всё вдруг решено окончательно».

И когда убийство было совершено, у Раскольникова осталось впечатление, «как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неизвестною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать».

ХІ

«Жить, чтоб только проходить мимо»

«Раскольников бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность „на аршине пространства“».

«Спасите меня! — истерически кричит подросток Лиза Алеше Карамазову. Я убью себя, потому что мне всё гадко! Я не хочу жить, потому что мне всё гадко! Мне всё гадко, всё гадко!»

Версилов спрашивает Катерину Николаевну:

«— Вы, говорят, опять полюбили общество, свет?»

— Не общество. Я знаю, что в нашем обществе такой же беспорядок, как и везде; но сна-

ружи формы еще красивы, так что *если жить, чтобы только проходить мимо*, то уж лучше тут, чем где-нибудь».

Нет жизни кругом, нет жизни внутри. Все окрашено в жутко тусклый, мертвенный цвет. И страшно не только то, что это так. Еще страшнее, что человек даже представить себе не в силах — как же может быть иначе? Чем способен человек жить на земле? Какая мыслима жизнь? Какое возможно счастье?

Все герои Достоевского могли бы повторить про себя то, что говорит скрипач Ефимов, отчим Неточки Незвановой:

«Я сам не знаю, чего хочу. Вот, спросите, сударь: „Егорка! Чего ты хочешь? Все могу тебе дать“, — а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем, что сам не знаю, чего хочу».

Остается жить, чтобы «только проходить мимо». Один миг радости, один просто красивый миг, — и за него можно отдать всю эту нудную, темную и бессмысленную жизнь.

«Я за две секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов», заявляет на суде Иван Карамазов.

После ночи со Ставрогиным Лизавета Ни-

колаевна с насмешкой говорит ему:

«Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять „воскресать“? Нет, уж довольно проб... Да и неспособна я. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать, — вот мой идеал, вы знаете... Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. А так как я и без того давно знала, что *меня всего на один миг только и хватит, то взяла и решилась... Я разочла мою жизнь на один только час и спокойна*»...

Надеяться в будущем тоже не на что: нет в жизни таких сил, которые могли бы воскресить человека.

«Тогда я еще надеялся на воскресение, — говорит писатель, от лица которого ведется рассказ в „Униженных и оскорбленных“. — Хотя бы в сумасшедший дом поступить, что ли, — решил я наконец, — чтобы повернулся как-нибудь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться. Была же жажда жизни и вера в нее!»

Но если бы и были силы, способные возродить человека, если бы мог он переделать себя, то и тут вопрос: во что возродиться, во что

себя переделать?

Подпольный человек пишет: «Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если бы даже и оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам не захотел бы переделываться, а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, *потому что, на самом деле, и переделываться-то, может быть, не во что*».

Кириллов — тот нашел, во что нужно переделываться: переродиться физически и стать человеком. Но когда мы взглядемся ближе в его человекобога, мы увидим, что это уже полный мертвец, в котором не осталось ни капли жизни.

«Будет новый человек, счастливый и гордый. *Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек*». Может быть, в таком случае все убьют себя, но — «это все равно. Обман убьют». Придет этот новый человек и научит, что все хороши и всё хорошо. Кто с голоду умрет, кто обесчестит де-

вочку, кто разmozжит голову за ребенка и кто не разmozжит, — всё хорошо.

Победа над смертью путем полного отсечения воли в жизни; победа над ужасами жизни путем мертвенно безразличного отношения к ней; презрение к жизни, презрение к смерти — вот этот чудовищный идеал, выросший на почве безнадежного отчаяния и глубочайшего неверия в природу человека. Сквозь гордо вызывающие мечты о его венце человечества у Кириллова вдруг прорывается отчаянное признание: «Бог необходим, а потому должен быть. Но я знаю, что его нет и не может быть. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?»

Кирилловского человекобога очень часто и охотно приравнивают к сверхчеловеку Ницше. Уж общим местом стало указание, что в Кириллове Достоевский как бы предвосхитил учение Ницше о сверхчеловеке. Это большое недоразумение. Оно основано на чисто внешнем сходстве понятий «человекобог» и «сверхчеловек». Содержание же понятий совершенно различно. Солнечно-светлый

сверхчеловек горит волею к жизни, полон великой творческой жажды; самую смерть он побеждает силою неодолимой своей жизненности. Что у него общего с тем могильным камнем над жизнью, холодным и неподвижным, имя которому — человекобог?

Тускла, мертвенна и пуста земная жизнь. Трудно даже представить себе, чем можно ее заполнить. Но есть зато жизнь *там*, есть бессмертие.

Однако что же такое бессмертие *само по себе*? Ведь, в сущности, это не более, как форма. Для формы нужно еще содержание.

«Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если в будущей жизни одни пауки или что-нибудь в этом роде? — сказал он вдруг. — Нам вот всё представляется вечность, как что-то огромное-огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность... Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не

представляется утешительнее и справедливее этого? — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почему знать, может быть, это и есть справедливое, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал, — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе».

Мысль неожиданная и чудовищная. Только в душе Достоевского могла родиться такая мысль. И однако, по существу своему, мысль эта до странности проста и естественна.

Один древний христианский пустынный сподобился видеть «райскую жизнь блаженных»: они живут без греха, не употребляя одежд, не вкушая ни вина, ни хлеба печеного, храня чистоту, питаясь одной водою и плодом, который ежедневно исходит из дерева в шестой час дня. Это, конечно, очень скучно, очень притом голодно, но понятно. Мусульманин будет ласкать в раю вечно девственных гурий, краснокожий вечно будет охотиться в лугах, богатых дичью, новозеландец-маорис вечно будет сражаться и выхо-

дить из боя победителем. Это всё тоже понятно. Люди эти знают, чего хотятъ.

Но пустая форма бессмертия в философском смысле, — какое содержание она гарантирует? Что-то огромное? «Да почему же непременно огромное?» В душе человека только мрак и пауки. Почему им не быть и там? Может быть, бессмертие — это такой тусклый, мертвый, безнадежный ужас, перед которым страдальческая земная жизнь — рай?

XII

Вечная гармония

В душе человека — угрюмый, непроглядный хаос. Бессильно крутятся во мраке разъединенные обрывки чувств и настроений. В темных вихрях вспыхивают слабые огоньки жизни, от которых мрак вокруг еще ужаснее.

Но бывают миги, когда отдельные огоньки эти сбиваются вихрем в одно место. Тогда темнота вдруг прорезывается ослепительно ярким светом. Разрозненные элементы жизни, сжатые в одно, дают впечатление неслыханного напряжения, близкого к взрыву. И как раньше невозможно было жить от угрюмого мрака, от скудости жизненных сил, так теперь жизнь становится невозможной вследствие чудовищного избытка сил и света.

«Для Ордынова (повесть „Хозяйка“) началась какая-то странная жизнь. Он чувствовал ясно, как бездонная темень разверзается перед ним, и он бросается в нее с воплем тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья, когда

жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом, яснее прошедшее, звучит торжеством настоящий светлый миг, и снится наяву неведомое грядущее; когда чувствуешь, что *неможна плоть перед таким гнетом впечатлений, что разрывается вся нить бытия*, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением».

В «Бесах» Кириллов говорит Шатову:

«Да... Постойте, бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии? Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное, я не про то, что оно небесное, а про то, что *человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть*. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда! Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите, — тут выше любви. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. *Если более*

пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически». То же переживает и князь Мышкин.

«Он задумался о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком, когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся, как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармонической радости и надежды».

Все существо человека вдруг говорит жизни:

— *Да, это правда!*

Душа как будто становится совсем другою, она преисполняется неодолимой силы жизни — той силы, через которую единственно познается глубочайшая первооснова жизни.

Но это лишь обман самочувствия. За силу жизни принимаются судорожно обострившиеся, глубоко болезненные процессы души, за вечную гармонию величайшая дисгармония. Ордынцов переживает свои ощущения в бреду горячки. Мышкин — неизлечимый эпилептик. Кириллову говорит Шатов: «Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так падающая начинается!»

Поэтому вполне естественно и понятно, что, почувствовав гармонию мира, сказав жизни: «Да, это правда!» — люди эти приходят не к утверждению жизни, а как раз к обратному — к полнейшему ее отрицанию.

«В эти пять секунд, — говорит Кириллов, — я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?»

То же и с Мышкиным:

«Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самознания, а стало быть, и „высшего бытия“ не

что иное, как болезнь; а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. Но что же в том, что это болезнь? Если в самый последний сознательный момент перед припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: *„Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!“* — то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: *отупение, душевный мрак, идиотизм стояли перед ним ярким последствием этих „высочайших минут“*».

Во время минут этих Мышкину становится понятно необычайное слово о том, что «времени больше не будет». То же самое говорит и Кириллов: «Времени больше не будет, потому что не надо. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме».

Если бы жизнь кругом они, действительно, почувствовали, как *правду*, то, как *правду* же, они почувствовали бы и самое время. Отрицанием же времени, признанием ненужности его они только еще ярче подчеркивают свою полную неспособность к жизни и к ее

правде.

«Высочайшая минута» проходит. Возвращается ненавистное время — призрачная, но неотрывно-цепкая форма нашего сознания. Вечность превращается в жалкие пять секунд, высшая гармония жизни исчезает, мир снова темнеет и разваливается на хаотические, разъединенные частички. Наступает другая вечность — холодная и унылая «вечность на аршине пространства». И угрюмое время сосредоточенно отмеривает секунды, часы, дни и годы этой летаргической вечности.

«Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем!» — говорит Кириллову лицо, ведущее рассказ в «Бесах». И по-прежнему терзается в отъединении своем от живого мира князь Мышкин, «всему чужой и выкидыш».

XIII

Тарантул

Самоубийца в «Приговоре» пишет:

«Как бы разумно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, — всё это приравняется завтра к нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всемогущим, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого... Невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо-грустная мысль: „ну, что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?“»

Страшный вопрос этот всё время шевелится в душе Достоевского. Великий Инквизитор смотрит на людей, как на «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку». Герой «Подполья» пишет: «Неужели же я для

того только и устроен, чтобы дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание?.. Тут подмен, подтасовка, шулерство, тут просто бурда, неизвестно что и неизвестно кто. Но у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит».

«Кто же это так смеется над человеком, Иван?» — спрашивает сына Федор Павлович Карамазов.

Над человеком стоит «темная, наглая и бессмысленно-вечная сила». Человек глубоко унижен ею. «Смешному человеку» снится, что он убивает себя и воскресает после смерти. «А, стало быть, есть и за гробом жизнь! И если надо быть снова и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!»

«Природа, — пишет Ипполит в своей исповеди, — мерещится в виде какого-то огромного, неумолимого и немощного зверя или, вернее, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства... Мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я пом-

ню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это — то самое темное, глухое всеильное существо, и смеялся над моим негодованием... Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула».

Подчиняться ей нет сил. Поднимается в душе бурная злоба, хочется винить и проклинать ее, эту темную силу. Но и винить бессмысленно, потому что сила эта безлична, безвольна и мертва.

«Положение мое тем более невыносимо, что *тут нет никого виноватого*», пишет самоубийца в «Приговоре». Герой подполья видит для себя лишь один выход, — «молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого, что предмета не находится».

Ну, а если есть виноватый, если есть на кого злиться? Если над темною и мертвою си-

лою стоит направляющая ее живая воля?

«Религия! — пишет Ипполит. — Вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: „я есмь!“ и пусть ему вдруг предписано этою высшею силою уничтожиться, потому что там так для чего-то, — и даже без объяснения, для чего, — это надо, пусть, я всё это допускаю, но опять-таки вечный вопрос: для чего при этом понадобилось смирение мое? *Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?* Если понять его невозможно, то, повторяю, трудно и отвечать за то, что не дано человеку понять... Нет, уж лучше оставим религию».

Но и для такого отношения к высшей воле требуется все-таки немалое смирение. А человек горд.

«Смешной человек» оживает в могиле. «И я вдруг воззвал, — не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершилось со мною:

— Кто бы ты ни был, но если ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что

теперь совершается, то дозволю ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества».

Властитель этот неотступно стоит перед всеми «безбожниками» Достоевского. Достоевский любит выводить безбожников, но безбожники его очень странные. Для них бог — не пустота, не слово без содержания. Все они видят бога, только не смотрят на него. Сквозь заявления их о своем неверии у каждого неожиданно прорывается слово или действие, выдающее тайное их настроение.

Атеист Раскольников вдруг объявляет Порфирию, что он верует в бога, даже буквально верует в воскресение Лазаря. Нигилист Ипполит говорит, что вечную жизнь он допускает. Иван Карамазов «не бога не принимает, а только билет ему почтительнейше возвращает». Безбожник Кириллов постоянно зажигает лампадку перед образом, Петр Верховенский

говорит про него: «Он в бога верует пуще, чем поп».

Все они вовсе не безбожники. У них глубокая тоска по богу, и бог для них есть, он перед ними. Но они не могут ему поклониться — слишком много они имеют к нему вопросов, на которые нет ответа.

Измученный жестокостями жизни, библейский Иов «ко вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с богом». Новый Иов, Достоевский, выступает на это состязание. И не было со времен Иова таких разрушительных, колеблющих небо вопросов, с какими идет на «страже человеков» Достоевский. Все его произведения — такие буйные вопросы, и увенчание их — знаменитый «бунт» Ивана Карамазова.

«О, по-моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что всё одно из другого выходит прямо и просто, но ведь жить по этой эвклидовской дичи я не могу же согласиться! Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармо-

нию... Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. И чем, чем ты искупишь их? Неужели тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад?.. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое, но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, хотя бы сам ребенок простил! А если так, — где же гармония? Не хочу гармонии. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ*» (курсив Достоевского).

В бессознательных глубинах души человеческой кипит и бушует это «неутоленное негодование». И человек вдруг прорывается странным, как будто непостижимым по своей

неожиданности словом или поступком.

Скорбно и страстно тоскующий о боге Версиллов вдруг яростно раскалывает о печку икону старца Макара Ивановича.

«Не прими за аллегория, Соня, я не наследство Макара разбил, а только так, чтобы разбить... *А впрочем, прими хоть и за аллегория: ведь это непременно было так!*»

В неутоленном негодовании своем «безбожники» Достоевского упорно и сосредоточенно борются против бога. Этим, может быть, и объясняется их настойчивое извлечение квадратного корня именно из зла, непрерывное желание «преступить» и «заявить своеволие».

Возражая против социализма, подпольный человек пишет: «Ведь всё дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть трюглом, да доказывал!»

Для безбожников Достоевского всё дело человеческое также как будто в том только и состоит, чтобы поминутно доказывать себе

свою независимость от бога — хоть своими боками, хоть троглодитством, а доказывать.

При том жизнеощущении, которым полон Достоевский, это упорное богоборчество его вполне естественно. Мир ужасен, человек безнадежно слаб и безмерно несчастен, жизнь без бога — это «медленное страдание и смерть» (Ставрогин). Какая же, в таком случае, свобода обращения к богу, какая любовь к нему? Нищий, иззябший калека стоит во мраке перед чертогом властителя. Если он запоем властителю хвалу, то потому ли, что возлюбил его, или только потому, что в чертоге тепло и светло?

Босая женщина бродила по улицам Александрии с факелом в одной руке, с кувшином в другой, и восклицала:

«Я сожгу небо этим факелом и затушу адский огонь этой водой, чтобы человек мог любить бога только ради его самого».

Для Достоевского же нет добродетели, если нет бессмертия; только убить себя остается, если нет бессмертия; невозможно жить и дышать, если нет бессмертия. На что нужен был бы Достоевскому бог, если бы предприятие

александрійської жінки вдалося? Знаменательна черточка: для Достоевського поняття «бог» і «личне бессмертіє людини» неразривно пов'язані між собою, для нього це прості синоніми. Між тим зв'язок цей зовсім не обов'язковий.

Любити бога тільки заради нього самого, без гарантованого людині бессмертія... За що? За цей світ, повний жаха, роз'єднання і скорби? За темну душу свою, в якій копошаться падики і фаланги? Ні, любові тут бути не може. Тут можливий тільки гіркий і буйний запитання Іпполита:

«Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?»

Тут можливо тільки мятежне рішення Івана Карамазова: «Лучше уж я останусь при неотмщенном страданіи моем и утомленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав».

XIV

Аркан

Но чем же в таком случае жить?

«Можно ли жить бунтом? А я хочу жить», — говорит Иван Карамазов.

«Обливаясь глупыми слезами своими, — говорит Великий Инквизитор, — люди сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же себе всегда и отомстит за него».

И вот на дальнейшем пути исканий Достоевского мы наталкиваемся на странную психологическую загадку — совсем ту же, которая поражает в исканиях библейского Иова. Обрыв на пути. Непереходимая пропасть. На дне пропасти не разрешенные, а только задуманные вопросы. По ту же сторону пропасти гимн и осанна.

Мир там совсем другой. Люди не извиваются, как перерезанные заступом земляные черви. Не слышно воплей и проклятий. Медленно и благообразно движутся безжизненные силуэты святых старцев Макара Ивановича и Зосимы, сидит на террасе своей дачи святой эпилептик Мышкин. Трепетные, нежнейшие мечты Достоевского о невозможном и недостижимом носятся над этими образами. Нездешние отсветы падают на них и озаряют весь мир вокруг. И от нездешнего этого света слабо начинает оживать мертвая здешняя жизнь.

«Красота везде неизреченная, — умиленно говорит старец Макар Иванович. — Травка растет, — расти, травка божия! птичка поет, — пой, птичка божия; ребеночек у женщины на руках пискнул, — господь с тобой, маленький человечек; расти на счастье, младенец!.. Хорошо на свете, милый!»

И учит отец Зосима:

«Все создания и вся тварь, каждый листик устремляется к слову, богу славу поет, Христу плачет... Всё — как океан, всё течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом

конце мира отдается... Ты для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя... *Знай меру, знай сроки, научись сему...* Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, всё люби...»

Чуждо стоят по другую сторону пропасти Раскольников, Иван Карамазов и прочие дьяволы подвижники. Усмехаются Свидригайлов и Версиков. Недоуменно простирает руки Дмитрий Карамазов...

Почему это вдруг стало «хорошо на свете»? Что это за соприкосновение всего друг с другом — среди всеобщего «безгласия косности»? Какая это такая духовная радость от работы для грядущего? «Да черт мне до будущего, если мне за это — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига!» (Подросток), «Как я вступлю в союз с землею навек? Что ж мне, мужиком сделаться, аль пастушком?» (Дмитрий Карамазов). Где пути к этой желанной жизни? Ведь звучащие с того края ответы — это те же вопросы, только употреб-

ленные в повелительном наклонении. Как мне любить землю? — Люби землю...

И однако путь есть в эту заветную страну благообразия и сердечного «веселия». Какой же? Да всё тот же. Человек еще недостаточно несчастен, нужно навалить на него новые страдания, забить его этими страданиями на самое дно пропасти, и вот тогда...

«Тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой жить человеку невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость. *Как я буду там под землей без бога?* Если бога с земли изгонят, мы под землей его встретим. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость!» (Дмитрий Карамазов).

Отвернемся от негодующе усмехающегося Ипполита, забудем про «неутоленное негодование» Ивана Карамазова. Напомнить о них теперь — это значит выбить из-под человека последнюю опору, за которую он цепляется. К другому нужно прислушиваться:

«Горе узришь великое, — учит отец Зосима, — и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе

завет: в горе счастья ищи. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь и жизнь благословишь».

Если же мы всё еще не понимаем спасительности и, главное, возвышенности указуемого пути, то послушаем Дмитрия Карамазова. Он понял и объяснит нам это с тою нелепо-голою, невыразимо-милою откровенностью, которая для него так характерна.

«Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его, как на аркан, и скрутить внешней силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!»

Там, высоко над пропастью, благообразно расхаживают и радуются спасенные... Да полно, не вытащены ли они на свою высоту из пропасти как раз на этом *аркане*? Слишком уж они забыли те вопросы, которые остались на дне пропасти, слишком устали от трудного подъема, слишком безмятежны. Против буйных и неистовых вопрошателей слишком «знают меру и сроки».

«Осанна, прошедшая через горнило сомнений»... Каким бы ясным, твердым блеском должна сверкать такая осанна, как страстно должна бы устремляться навстречу сомнениям, как бурно рваться к покорению человеческих душ! Но одна лишь усталость и задушенное отчаяние слышны в спокойной осанне благообразных праведников Достоевского.

И как в жизни они мягки, как покладисты! «Знай меру», — учит Зосима. О, сам он ее знает!

«Учитель, что мне делать, чтоб наследовать жизнь вечную?» — спрашивает шут Федор Павлович Карамазов.

«Не предавайтесь пьянству и сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, *если не можете всех, то хоть два или три...*»

Уж не смеется ли втайне Достоевский над своим Зосимой, заставляя его так ядовито пародировать евангельский ответ на тот же вопрос?

«Мечтаю видеть и как будто уже вижу ясно наше грядущее, — говорит всё тот же святой старец. — Ибо будет так, что даже самый

развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего перед бедным, *а бедный, видя смирение его, поймет* (что поймет?!) *и уступит ему*, с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим, на то идет».

Вот она, желанная будущая гармония, та гармония, о которой так безнадежно тоскует Иван Карамазов! Бедный что-то такое поймет, уступит богатому, предоставит своим ребятам по-прежнему чахнуть с голоду, а дочь свою пошлет дорогою Сонечки Мармеладовой. Богатый же останется при своем богатстве да получит в придачу «благолепный стыд»... Хорошо, что святой старец говорит хоть проникновенно, но тихо. А то бы с другого берега пропасти его услышал Иван Карамазов и расхохотался бы так, что святой старец покраснел бы от стыда, весьма мало благолепного.

Нет, не неистовы они, эти праведники. Зато очень неистов сам Достоевский, когда речь заходит о его вере в бога. Он сейчас же начинает раздражаться, с негодованием говорит о «мерзавцах» и «олухах», нападавших на него за его веру в бога. «Да их глупой природе и не

снилось такой силы отрицания, которое перешел я... И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же черт».

Но чем раздраженнее отстаивает Достоевский свое право на веру, чем исступленнее анафемствует и смеется над безбожниками, тем настойчивее припоминается замечание, однажды им же самим оброненное:

«Кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеной у рта, убеждая других, единственно, чтобы самим убедиться, да так и умирают неубежденные».

И, может быть, как раз самого Достоевского имеет в виду старец Макар Иванович, противопоставляя подлинным безбожникам голых отрицателей: «те много пострашнее этих будут, потому что с именем Божиим на устах приходят».

Но тот же Макар Иванович в «Подростке» говорит:

«Невозможно быть человеку, чтоб не пре-

клониться: не снесет себя такой человек, да и никакой человек».

И преклоняется человек, потому что нет сил нести себя, и нечем жить. Надевает на лицо маску, страстно старается убедить себя, что это и есть его лицо. Но вдруг нечаянно спадает маска, открывается на миг подлинное лицо, и слышны странные загадочные речи:

«— Монах я, Lise? — спрашивает Алеша. — Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?

— Да, сказала.

— *А я в бога-то вот, может быть, и не верую.*

Было тут, в этих слишком внезапных словах его, нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть, и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее».

Это из «Братьев Карамазовых». А вот из «Бесов»:

«— Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я

верую... — залепетал в исступлении Шатов.

— А в бога? В бога?

— *Я... я буду веровать в бога».*

Нужно при этом помнить, что Шатов проповедует *совсем то же самое*, что, от себя уже, проповедует и Достоевский в «Дневнике писателя». С такою, казалось бы, огненной убежденностью и сам Достоевский всё время твердит: «я верую в православие, верую, что новое пришествие Христа совершится в России»... Но публицист не смеет произнести последнего слова, он старается скрыть его даже от себя. И со страшною, нечеловеческою правдивостью это слово договаривает художник: а в бога — в бога я буду веровать...

Геффдинг говорит в своей «Философии религии»: «Некогда религия была тем огненным столпом, который шествовал впереди человеческого рода, указывая ему путь в его великом историческом шествии. Теперь она все более и более превращается в лазарет, следующий за походом, подбирающий усталых и раненых».

Религия Достоевского во всяком случае — именно такой лазарет. Лазарет для усталых,

богадельня для немощных. Бог этой религии — только костыль, за который хватается безнадежно увечный человек. Хватается, пытается подняться и опереться, но костыль то и дело ломается. А кругом — мрачная, унылая пустыня, и царит над нею холодное «безгласие косности».

XV

В страдании есть идея

«Страданием всё очищается», — говорит Наташа в «Униженных и оскорбленных».

Да, страдание, страдание, страдание! Вот истинное бродило, очищающее и просветляющее жизнь. Вот что делает человека прекрасным и высоким, вот что дает ему счастье.

В «Бесах» монастырская одна старица говорит:

«Всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть, а как напоишь слезами своими под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься».

«В горе счастья ищи!» — поучает Алешу старец Зосима. И Порфирий Петрович поучает Раскольникову:

«Страдание, Родион Романович, великая вещь; вы не смотрите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю; не смейтесь над этим, в страдании есть идея».

Какая же идея?

Мы видим: перестрадав сверх меры, люди только сходят у Достоевского с ума, убивают себя, умирают, захлебываясь проклятиями. Там, где идея эта должна проявиться, Достоевский как раз замолкает. Раскольников на каторге очистился страданием, для него началась новая жизнь, «обновление» и «перерождение», но... Но «это могло составить тему нового рассказа, теперешний же рассказ наш окончен». То же и относительно Подростка.

Но все это не важно. «Идею» страдания не к чему вскрывать, не к чему доказывать. Она для Достоевского несомненное всех идей, — может быть, единственная вполне несомненная идея. И, покоренные силою его веры в страдание, замороженные мрачным его гением, мы принимаем душою недоказанную идею и без всякого недоумения слушаем такие, например, речи Дмитрия Карамазова:

«Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю!..» Иван хочет устроить брату побег в Америку, Дмитрий возражает: «А совесть-то? От страдания ведь убежал!» Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом... «От распятия

убежал!» В конце концов он соглашается на Америку, — и вот почему: «Если я и убегу в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, и этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже!»

Над этим можно бы только в изумлении развести руками: что его гонит? Преступление, которое надо «искупить» страданием? Но ведь Дмитрий в нем неповинен, не он убил отца. Почему же его ободряет мысль, что он бежит на такую же каторгу, а не на радость и счастье?.. Но не изумляешься. Смотришь кругом на бессильно корчащуюся, немощную и безвольную жизнь, и во всей нелепице этой начинаешь чувствовать какую-то чудовищную необходимость, почти правду, рожденную... Из чего?

В «Записках из мертвого дома» Достоевский рассказывает про одного арестанта. Ни с того, ни с сего он бросился с кирпичом на начальника тюрьмы и за это был засечен насмерть. «Вероятно, — говорит Достоевский, — он был из отчаявшихся, из тех, кого покинула

последняя надежда, а так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве».

Когда жизни нет и надеяться не на что, когда душа бессильна на счастье, когда вечный мрак кругом, тогда призрак яркой, полной жизни дается страданием.

«Страдание-то и есть жизнь», — говорит черт Ивану Карамазову. Важно не то, *ведет ли* к чему страдание, есть ли в нем какая «идея», — важно то, что страдание само по себе только и дает своеобразную жизнь в мире тьмы, ужаса и отчаяния. Все призрачно, все мертво. Прочно и твердо и несомненно одно лишь страдание. Отнять у человека страдание, — чем же он станет жить? В муках бессильно стремящейся воли, в едких переживаниях отчаяния, ужаса и позора, в безумиях страдальческой или мучительской страсти, — так еще возможно жить. Но только так и возможно.

Аглая говорит Настасье Филипповне: «Вы любите один только свой позор и непрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас

оскорбили. Будь у вас меньше позора или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее».

Подросток называет сестру свою Лизу «добровольною искательницею мучений». Так можно назвать всех без исключения героев Достоевского. Все они ищут мучений, все рвутся к страданиям. «Страдание-то и есть жизнь». Отнять страдание — исчезнет жизнь, и останется такая пустота, что страшно подумать.

И вот человек гасит в своей душе последние проблески надежды на счастье и уходит в темное подполье жизни. Пусть даже случайный луч не напоминает о мире, где солнце и радость. Не нужен ему этот мир, вечно дразнящий и обманывающий. У человека свое богатство — страдание.

«Законы природы постоянны и более всего всю жизнь меня обижали, — пишет подпольный человек. — Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец, наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия... Именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом со-

знательном погребении самого себя заживо сгоря в подполье, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил».

Все то, с чем борются и от чего бегут на земле, — для подпольного человека желанно, сладостно и целительно, как морфий для морфиниста.

«Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается», — говорит Достоевский по поводу одной несчастной бабы-богомолки.

Нелли в «Униженных и оскорбленных» «точно наслаждалась сама своею болью, этим „эгоизмом страдания“, если можно так выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это — наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою».

Существа наземные даже и представить себе не могут, какие сокровища находит подпольный человек, разрабатывая странное

свое богатство. Целые россыпи ярких, острых, сладострастных наслаждений открываются в темных глубинах этого богатства.

«В отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, — пишет подпольный человек, — особенно, когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения».

Герой повести «Игрок» говорит: «Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо».

XVI

Живая жизнь

«Конец концов, господа: лучше ничего не делать! — заявляет подпольный человек. — Лучше созерцательная инерция! И так, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу быть им... Нет, нет, подполье, во всяком случае, выгоднее. Там, по крайней мере, можно... Эх, да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!»

И он же в конце своей исповеди пишет:

«Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей „живой жизни“ какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и

что оно такое, как называется».

Но рядом с этим глубоко в душах все время горит «зовущая тоска», все время шевелится смутное сознание, что есть она в мире, эта «живая жизнь» радостная, светлая, знающая свои пути. И от одного намека на нее сладко вздрагивает сердце.

«Видали вы лист, с дерева лист? — спрашивает Кириллов. — Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал».

«Что же это за пир, — думает Мышкин, — что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца? У всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью приходит и с песнью отходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, всему чужой и выкидыш».

Где живет живое, как оно называется?

«Что же такое эта живая жизнь, по-вашему? — спросил князь.

— Не знаю, князь, — ответил Версиков. —

Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уж многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

Малым своим разумом Достоевский знает, в чем эта живая жизнь. Всё в том же личном бессмертии. В комментариях к своему письму самоубийцы-материалиста он пишет: «Вера в бессмертие души человеческой есть единственный источник живой жизни на земле, — жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов и заключений».

Но, очевидно, не эту живую жизнь имеет в виду великий разум художника, говорящий устами Версилова. Ведь идея бессмертия души существует «многие тысячи лет», человечество не проходит мимо этой идеи, а, напротив, все время упирается в нее. А мы все ищем. Не в этом живая жизнь, которую чувствует Достоевский. Но не от него мы узнаем, в чем же она. Он сам не знает.

Тем не менее он знает все-таки что-то

очень важное. Он знает, что «эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем».

